
ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.И. ГЕРЦЕНА
ИЗ КНИГИ «БОРЬБА С ЗАПАДОМ В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Я – зритель; только это и не роль
и не натура моя, это – мое положение.
(*С того берега.*)

Mir gab ein Gott zu sagen, was ich leide.
Gothe. *Torquato Tasso*¹.

ПЕССИМИЗМ.
«ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА».
ГЁТЕ

По всему своему душевному строю, по своим чувствам и взгляду на вещи Герцен был, от начала до конца своего поприща, *пессимистом*, т. е. темная сторона мира открывалась ему яснее, чем светлая; болезненные и печальные явления жизни он воспринимал с несравненно большей живостью и чуткостью, чем всякие другие. Вот где ключ к разгадке литературной деятельности Герцена, вот где нужно искать ее главных достоинств и недостатков. Мысль Герцена постоянно работала в этом направлении, и, при его значительном философском и художническом таланте, при том *мужестве* перед истиной, которым он хвалился и которое в нем действительно было, – эта умственная работа привела его к некоторым очень важным открытиям, к таким взглядам, которые не останутся без следа в русской литературе. Все, что есть

глубокомысленного у Герцена, глубокомысленно только в этом отношении, то есть, как глубокое развитие пессимизма, – безотрадного, мрачного воззрения на мир. В этом заключается весь интерес его философских рассуждений и главный нерв его художественных произведений.

Для ясности перейдем поскорее от общих положений к фактам, то есть разберем главнейшие произведения Герцена. Тогда наша мысль уяснится сама собою.

Первым замечательным литературным произведением Герцена были два отрывка из некоторого рода автобиографии, явившиеся под заглавием: *Записки одного молодого человека* ("Отч. зап." 1840, декабрь) и *Еще из записок одного молодого человека* ("Отч. Зап.", 1841, август). Второй отрывок уже представляет нечто весьма характеристическое для Герцена, уже проявляет его силу и оригинальность. Тут выведен на сцену некто *Трензинский*, лицо, к которому автор относится с величайшим сочувствием и в котором изображен один из действительных людей, дядя автора, имевший, очевидно, большое влияние на его образ мыслей. Этот Трензинский выставлен человеком, воспитанным на идеях прошлого столетия и потому находящимся в противоречии с идеями новыми, с направлением, имевшим силу тогда, в 1840 году. Тогда – господствовало поклонение Гёте, то есть проповедовался величавый и спокойный пантеизм, некоторого рода обоготворение земной жизни людей, вера в ее разумность и красоту. Станкевич, Белинский были, как известно, этой веры в ту эпоху. Этой же веры был и Герцен, еще не смевший восстать открыто против духа времени, против таких авторитетов, как Гегель и Гете. Но в Герцене сильно говорило противоречие этому господствующему духу, и он с удивительною энергиею и ясностью воплотил свои новые, свои собственные мысли в фигуре Трензинского.

Во-первых, что такое сам Трензинский? Это *познанский поляк*, который, впрочем, вовсе не имеет качеств представителя польской народности. Напротив, Герцен хотел вывести лицо, так сказать, *между-народное*, лишенное всякой определенной почвы. Трензинский уже старик, имеющий более пятидесяти лет, следовательно, человек, уже проживший главную часть своей жизни, и сам он определяет свою судьбу так:

"Для того, чтобы быть брошену так бесцельно, так нелепо в мире, как я, надобен целый ряд исключительных обстоятельств. Я никогда не знал ни семейной жизни, ни родины, ни обязанностей, которые вырастают в сердце с колыбели. Но заметьте, я нисколько не был виноват, я не навлек на себя этого отчуждения от всего человеческого; обстоятельства устроили так" (стр. 179).

Таким образом, в Трензинском выступает перед нами одно из тех лиц, которые так любил Герцен, – человек *несчастный без всякой вины*, жертва случая, не оправдываемая никакою системою оптимизма, осужденная на страдания, не имеющие смысла. В заключение рассказа, Герцен сам пытается произнести суждение о своем герое и говорит так:

"В Трензинском преобладает скептицизм d'une existence manguee²; это равно ни скептицизм древних, ни скептицизм Юма, а скептицизм жизни, убитой обстоятельствами, беспредельно грустный взгляд на вещи человека, которого грудь покрыта ранами незаслуженными, человека, оскорбленного в благороднейших чувствах, и между тем человека полного силы" (стр. 187).

Такой человек не мог, конечно, держаться светлого созерцания пантеизма, видящего всюду разумность и красоту. Поэтому пантеист Герцен называет взгляды Трензинского "странными мнениями и парадоксами", но тем не менее говорит, что этому человеку "удалось нанести глухой удар некоторым из его теплых верований" (стр. 174).

Как пример Герцен приводит свои разговоры о предмете величайшей важности, об олимпийце Гёте, которого так величала и славилла тогдашняя философия. Трензинский рассказывает, что он два раза встречался с Гёте. Эти встречи оставили в нем неблагоприятное впечатление от личности великого поэта; рассказ так мастерски выставляет некоторые черты Гёте и имеет такое важное значение для характеристики взглядов Герцена, что мы приведем его вполне.

"Первый раз, – рассказывает Трензинский, – я видел Гёте мальчиком, лет шестнадцати. При начале революции отец мой был в Париже, и я с ним. Regime de terreur как-то проглядывал сквозь сладко-глаголивую жиронду... Иностранцам было опасно ехать и еще опаснее оставаться. Отец мой решился на первое, и мы тайком выбрались из Парижа".

После разных приключений и опасностей они добрались, наконец, до союзной немецкой армии, которая шла тогда на Францию для подавления революции.

"Нас повели к генералу и после разных допросов и расспросов позволили ехать далее; но возможности никакой не было достать лошадей; все были взяты под армию, для которой тогда наступило самое критическое время. Армия гибла от голода и грязи. На другой день пригласил нас один владетельный князь на вечер. В маленькой зале, принадлежавшей сельскому священнику, мы застали несколько полковников, как все немецкие полковники – с седыми усами, с видом честности и не слишком большой дальновидно-

сти. Они грустно курили свои сигары. Два-три адъютанта весело говорили по-французски, коверкая германизмами каждое слово; казалось, они еще не сомневались, что им придется попить в Palais Royal и там оставить свой здоровый цвет лица, заветный локон, подаренный при разлуке, и немецкую способность краснеть от двусмысленного слова. Вообще, было скучно. Довольно поздно явился еще гость, во фраке, мужчина хорошего роста, довольно плотный, с гордым, важным видом. Все приветствовали его с величайшим почтением; но его взор не был приветлив, не вызывал дружбы, а благосклонно принимал привычную дань вассальства. Каждый мог чувствовать, что он не товарищ ему. Князь предложил кресло возле себя; он сел, сохраняя ту особенную Steifheit, которая в крови у немецких аристократов. "Нынче утром, – сказал он после обыкновенных приветствий, – я имел необыкновенную встречу. Я ехал в карете герцога, как всегда; вдруг подъезжает верхом какой-то военный, закутанный шинелью от дождя. Увидев веймарский герб и герцогскую ливрею, он подъехал к карете и – представьте взаимное наше удивление – когда я узнал в военном его величество короля, а его величество нашел вместо герцога – меня. Этот случай останется у меня долго в памяти".

Разговор обратился от рассказа чрезвычайной встречи к королю, и естественно перешли к *тем* вопросам, которые тогда занимали всех бывших в зале, т. е. к войне и политике. Князь подвел моего отца к дипломату (новому гостю) и сказал, что от него можно узнать самые новые новости. "Что делает генерал Лафайет и все эти антропофаги?" – спросил дипломат. "Лафайет, – отвечал мой отец, – неустрашимо защищает короля и в открытой борьбе с якобинцами". Дипломат покачал головой и выразительно заметил: "Это одна маска: Лафайет, я почти уверен, заодно с якобинцами". – "Помилуйте! – возразил мой отец, – да с самого начала у них непримиримая вражда". Дипломат иронически улыбнулся и, промолчав, сказал: "Я собирался ехать в Париж года два тому назад, но я хотел видеть Париж Лудовика Великого и великого Аруэта, а не орду гуннов, неистовствующих на обломках его славы. Можно ли было ожидать, чтоб буйная шайка демагогов имела такой успех. О, если б Неккер в свое время принял иные меры, если б Лудовик XVI послушался не ангельского своего сердца, а преданных ему людей, которых предки столетия процветали под лилиями, нам не нужно бы было теперь подниматься в крестовый поход! Но наш Готфред скоро образумит их, в этом я не сомневаюсь; да и сами французы ему помогут; Франция не заключена в Париже".

Князь был ужасно доволен его словами.

Но кто не знает откровенности германских воинов, да и воинов вообще. Их разрубленные лица, их простреленные груди дают им право говорить то, о чем мы имеем право молчать. По несчастью, за князем стоял, опершись на саблю, один из седых полковников; в наружности было видно, что он жизнь провел с 10 лет на бивуаках и в лагерях, что он хорошо помнит старого Фрица; черты его выражали гордое мужество и безусловную честность. Он внимательно слушал слова дипломата и наконец сказал:

– Да неужели вы, не шутя, верите до сих пор, что французы нас примут с распростертыми объятиями, когда всякий день показывает нам, какой свирепо народный характер принимает эта война, когда поселяне жгут свой хлеб и свои дома для того, чтобы затруднить нас. Признаюсь, я не думаю, чтобы нам скоро пришлось обращаться Париж на путь истинный, особенно ежели будем стоять на одном месте.

– Полковник не в духе, – возразил дипломат и взглянул на него так, что мне показалось, что он придавил его ногой. – Но я полагаю, вы знаете лучше меня, что осенью, в грязь, невозможно идти вперед. В полководце не благородная запальчивость, а благоразумие дорого; вспомните Фабия-Кунктатора.

Полковник не струсил ни от взора, ни от слов дипломата.

– Разумеется, теперь нельзя идти вперед, да и назад трудно. Впрочем, ведь осень в нынешнем году не в первый раз во Франции, грязь можно было предвидеть. Я молю Бога, чтоб дали генеральное сражение; лучше умереть перед своим полком с оружием в руке, от пули, нежели сидеть в этой грязи...

И он жал рукою эфес сабли. Началось шептанье, и издали слышалось: "Ja, ja der Obrist hat recht... Wa're der gro?e Fritz... oh, der gro?e Fritz!"³ Дипломат, улыбаясь, обернулся к князю и сказал: "В какой бы форме ни выражалась эта жажда побед воинов тевтонских, нельзя ее видеть без умиления. Конечно, наше настоящее положение не из самых блестящих; но вспомним, чем утешался Жуанвиль, когда был в плену с Святым Лудовиком: "Nous en parlerons devant les darnes"⁴.

– Покорно благодарю за совет! – возразил неумолимый полковник. – Я своей жене, матери, сестре (если бы они у меня были) не сказал бы ни слова об этой кампании, из которой мы принесем грязь на ногах и раны на спине. Да об этом, пожалуй, нашим дамам прежде нас расскажут эти чернильные якобинцы, о которых нас уверяли, что они исчезнут, как дым, при первом выстреле.

Дипломат понял, что ему не совладать с таким соперником, и он, как Ксенофонт⁵, почетно отступил с следующими 10 000 словами: "Мир политики мне совершенно чужд; мне скучно, ког-

да я слушаю о маршах и эволюциях, о прениях и мерах государственных. Я не мог никогда без скуки читать газет; все это что-то такое преходящее, временное, да и вовсе чуждое по самой сущности нам. Есть другие области, в которых я себя понимаю царем: зачем же я пойду без призыва, дюжинным резонером, вмешиваться в дела, возложенные провидением на избранных им нести тяжкое бремя управления? И что мне за дело до того, что делается в этой сфере!"

Слово "дюжинный резонер" попало в цель: полковник сжал сигару так, что дым у нее пошел из двадцати мест, и, впрочем довольно спокойно, но с огненными глазами, сказал: "Вот я простой человек, нигде себя не чувствую ни царем, ни гением, а всегда остаюсь *человеком* и помню, как, еще будучи мальчиком, затвердил пословицу: *Nomo sum et niliil humani a me alienum puto*⁶. Две пули, пролетевшие через мое тело, подтвердили мое право вмешиваться в те дела, за которые я плачу своею кровью".

Дипломат сделал вид, что не слышит слов полковника; к тому же тот сказал это, обращаясь к своим соседям. "И здесь, – продолжал дипломат, – среди военного стана, я так же далек от политики, как в веймарском кабинете".

– А чем вы теперь занимаетесь? – спросил князь, едва скрывая радость, что разговор переменялся.

– Теорию цветов; я имел счастье третьего дня читать отрывки светлейшему дядюшке вашей светлости.

Стало, это не дипломат. "Кто это?" – спросил я эмигранта, который сидел возле меня и, несмотря на бивуачную жизнь, нашел средство претщательно нарядиться, хотя в короткое платье. "Ah, bah; c'est un celebre poete allemand, m-r Koethe, qui a escrit... qui a escrit... ah!.. La Messiade!"⁷ "Так это автор романа, сводившего меня с ума: "Werters Leiden!" – подумал я, улыбаясь филологическим знаниям эмигранта⁸. Во Франции, кроме "Вертера", не было ни одного из его сочинений. – Вот моя первая встреча".

Прошло несколько лет. Мрачный террор скрылся за блеском побед. Дюмурье, Гош и, наконец, Бонапарт поразили мир удивлением. То было время первой итальянской кампании, этой юношеской поэмы Наполеона. Я был в Веймаре и пошел в театр. Давали какую-то политическую фарсу Гётева сочинения. Публика не смеялась, да и, по правде, насмешка была натянута и плосковата. Гёте сидел в ложе с герцогом. Я издали смотрел на него и от всей души жалел его; он понял очень хорошо равнодушие, кашель, разговоры в партере и испытывал участь журналиста, не попавшего в тон. Между прочим, в партере был тот же полковник. Я подошел к нему; он узнал меня. Лицо его исхудало, как будто лет десять мы

не видались, рука была на перевязке. "Что же Гёте тогда толковал, что политика ниже его, а теперь пустился в памфлеты. Я дюжинный резонер и не понимаю тех людей, которые хохочут там, где народы обливаются кровью, и, открывши глаза, не видят, что совершается перед ними. А может быть, это право гения..."

Я молча пожал его руку, и мы расстались. При выходе из театра какие-то три, вероятно, пьяные, бурша с Растрепанными волосами в честь Арминия⁹ и Тацитова сказания германцах¹⁰, с портретом Фихте на трубках, -- принялись свистать, когда Гёте садился в карету. Буршей повели в полицию, я пошел домой, и с тех пор не видал Гёте" (стр. 182–185).

Вот мастерской рассказ, в котором с удивительной краткостью и силою выставлена известная черта Гёте – его равнодушие к современным практическим вопросам. Смысл рассказа весьма многозначителен, соответствует многим задушевным стремлениям Герцена. Во-первых, тут слышно отрицание авторитетов, та мысль, что только мечтатели и идеалисты "строят себе в голове фантастических великих людей, односторонних и, следовательно, неверных оригиналам". (Так выражается в заключение Трензинский.) Во-вторых, слышно горячее сочувствие к практическим интересам, к *людям жизни*, в противоположность с поэтами и мыслителями. Но главный центр рассказа заключается в противоположности между Гёте и Трензинским, между поэтом, примирившимся с жизнью, и человеком, который ничем с жизнью не примиряется. Главная мысль заключается в сочувствии к лицу, которое отвергло всякую идею примирения. "Философы, – говорит Трензинский, – примиряются *с несчастиями, слепо и грубо поражающими ежедневно индивидуальность*, мыслью о ничтожности индивидуума" (стр. 186). Трензинский не признает этого выхода из противоречия; он упорно держится того взгляда, что человеку не в чем искать утешения и успокоения, если он страдает нелепо, бесцельно, без всякой вины, единственно в силу случайностей и обстоятельств. Идея такого страдания есть главная идея Герцена. В заключение этого отрывка из *Записок молодого человека* Герцен делает разные оговорки, выражает опасение, чтобы рассказа его как-нибудь не сочли *мелким камнем, брошенным в великого поэта*, уверяет, что сам он *благоговеет* перед Гёте, и объясняет все дело следующим образом:

"Трензинский – человек по преимуществу практический, всего менее художник. Он мог смотреть на Гёте с такой бедной точки; да и должен ли был вселить Гёте уважение к себе, подавить авторитетом – человека, который рядом бедствий дошел до неуважения лучших упований своей жизни" (стр. 187).

Итак, есть случаи, в которых невластны и бессильны всякая поэзия, всякая философия; есть несчастья, перед которыми не может устоять никакой авторитет, разлетается всякий ореол, которые *дают право* на самого олимпийца Гете смотреть так, как смотрит Трензинский.

По тому времени это были мысли чрезвычайно дерзкие и вольнодумные, так как поклонение Гёте господствовало у нас с великою силою и было подкрепляемо авторитетом гегелизма, видевшего в Гёте поэта наиболее глубокого, всего ближе подходящего к духу этой философии. Источником же этих дерзких мыслей было признание в мире горя, не исцелимого никакой философией.

"КТО ВИНОВАТ?" СТРАДАНИЯ БЕЗ ВИНЫ

Наиболее известное русским читателям произведение Герцена есть его роман *Кто виноват?*, появившийся в первый раз в *Отечественных записках* 1845 года, в декабрьской книжке и потом дважды изданный отдельно, в 1847 г. (Спб., тип Праца) и в 1866 г. (Спб., изд. Ковалевского). Мы остановимся на нем дольше и подробнее, как на вещи не только известной более других, но и вполне законченной, вполне обработанной и, вместе, чрезвычайно поучительной с той точки зрения, которой мы держимся. По порядку времени нам следовало бы говорить сперва о философских статьях Герцена; но для ясности мы отложим эту речь до другого места, сперва разберем роман; мысль Герцена здесь выражена в образах, следовательно, в самой общедоступной и живой форме.

История, которая рассказывается в этом романе, чрезвычайно проста по основным своим чертам. Благородный и умный молодой человек встречается на своем жизненном пути молодую девушку, точно так же умную и чистую. Они влюбляются друг в друга, преодолевают некоторые препятствия, мешавшие их браку, и женятся. Наступает семейное счастье, ясное, простое, которое тянется целые годы; у молодых супругов есть сын, следовательно, есть и то звено, которое необходимо для полноты супружества, без которого супружество теряет свой главный смысл. Вдруг на эту семью обрушивается несчастье. Случайно в тот город, где она живет, приезжает Бельтов, молодой холостяк, блистательный, умный, энергический. Он знакомится с счастливою семьею, начиная часто бывать в ней; и вот между ним и молодою женщиною с неудержимою силою и быстротою возникает страсть.

Такова завязка романа.

Очевидно, случай, взятый Герценом, относится к так называемому *женскому вопросу*, к вопросу о свободе сердечных наших чувств, о стеснении, представляемом неразрывностью брака, о неразумности такого чувства, как ревность, и т. д. На эти и подобные темы было у нас написано немало всяких рассуждений и бесчисленное множество повестей и романов. Существует целая литература, весьма любопытная, трактующая о разных затруднениях и случаях, встречающихся в делах любви и брака. Общее решение, к которому приходит эта литература, состоит в том, что все можно уладить, что все беды, претерпеваемые людьми в этом отношении, происходят или от дурных законов, или от грубых и непросвещенных чувств и нравов; изменив законы и внушив людям просвещенные и истинно гуманные взгляды на дело, мы могли бы, по мнению многих наших писателей, водворить на земле совершенное благополучие, по крайней мере, в любовных и семейных делах. Если бы пригласить для решения вопроса, например, г. Авдеева¹¹, самого знаменитого из наших проповедников о правах любви, то, мы вполне уверены, он нимало не затруднился бы решением. Жена должна свободно следовать влечению страсти, а муж не должен мешать ее счастью и не имеет права быть несчастным только оттого, что другие счастливы, – вот как следует решить на основании уроков, заключающихся в произведениях г. Авдеева и многих других.

Герцен решил иначе. Он вывел на сцену самых добрых, умных, гуманных людей, которые чужды всяких предрассудков и вполне готовы были бы пожертвовать собою для того, чтобы как-нибудь выйти самим и вывести других из рокового столкновения; но выхода нет, и потому эти люди неизбежно должны страдать. Первый начинает страдать муж, который тотчас догадался, что потерял нераздельную нежность жены, потерял то, чем прежде жил и дышал. Затем страдает жена, замечая мучения мужа и чувствуя, что она ни за что не может покинуть его и ребенка, что она для них должна отказаться от новой своей любви. Наконец Бельтов, видя, что его страсть приносит только горе другим, уезжает, отрываясь от женщины, которую полюбил так, как уже не полюбит, вероятно, никакую другую. Спокойствие и счастье всех действующих лиц нарушено и едва ли когда-нибудь к ним возвратится.

Трагизм этого столкновения взят Герценом во всей чистоте и силе. Если бы брак Круциферских совершился не по любви, а под давлением тех или других обстоятельств, если бы муж был дурен, стар, болен или опостылел бы своей жене с нравственной стороны, тогда любовь жены к другому мужчине имела бы неко-

торое оправдание. Если бы Бельтов или Круциферская были люди легкомысленные и порочные, которые только слишком поздно одумались и спохватились, – тогда беда, в которую они себя втянули, была бы некоторого рода наказанием за легкомыслие. Но ничего подобного здесь нет. Супруги искренно, нежно любят друг друга. Страсть Круциферской и Бельтова возникает из самых чистых отношений, из беспорочного душевного сочувствия. Все наказаны, и никто не виноват.

Таков действительно смысл этого романа. Попробуйте отвечать на вопрос, которым он озаглавлен: *Кто виноват?* – и вы увидите, что нельзя найти никакого определенного ответа, нельзя приписать вину ни кому-нибудь из действующих лиц, ни той среде, тем нравам и законам, среди которых они живут. Счастье нарушено не тем, что герои рассказа связаны в своих действиях государственными или религиозными постановлениями, и не тем, что они подвергаются преследованию и угнетению со стороны грубого и невежественного общества. Нет – беда заключается единственно во взаимных отношениях, в которых стоят лица романа и в которые они пришли без всякой своей вины, без всякого дурного попользования. Вот истинная мысль романа.

Эта мысль ясно выражается в словах доктора Крупова, играющего роль некоторого *Стародума*¹² в этой драме. "Недаром я всегда говорил, – проповедует он в заключение, – что *семейная жизнь – вещь преопасная*" (стр. 366). А в чем заключается опасность семейной жизни, видно из слов Круциферской, сидящей над больным ребенком и чувствующей, что она любит другого, не мужа, не отца этого ребенка. "Что за непрочность всего, что нам дорого, – страшно подумать! Так, какой-то вихрь несет, кружит всякую всячину, хорошее и дурное; и человек туда попадает, и бросит его на верх блаженства, а потом вниз. Человек воображает, что он сам распоряжается всем этим, а он, точно щепка в реке, повертывается в маленьком кружочке и плывет вместе с волной, куда случится -- прильет к берегу, унесет в море или увязнет в тине... Скучно и обидно!" (стр. 324).

Неизбежная непрочность счастья, ничем не предотвратимая возможность потерь и бед, не зависящих от нашей воли, – вот та обидная и страшная сторона жизни, которую изображает роман.

Если мы ближе всмотримся, то найдем тут и другую мысль, которая, впрочем, только яснее оттеняет первую. Попробуем разобрать симпатию автора к его лицам. Нравственно или, пожалуй, юридически виноватым он не считает никого; но все-таки есть точка зрения, в которой он одним лицам сочувствует более, а дру-

гим менее, есть какой-то высший суд, который одних осуждает, а других оправдывает.

Приговор этих симпатий и этого суда у Герцена выходит прямо обратный обыкновенному пониманию. Герцен наименее сочувствует Круциферскому, то есть тому человеку, который, по обыкновенным понятиям, всего менее виноват, который не подал никакого повода к несчастью, его поразившему. А более всех оправдывает Герцен Бельтова – того человека, от которого произошла вся беда, который своим появлением и вмешательством в чужую семью разрушил ее счастье.

Круциферский виноват именно потому, что он слишком исключительно предан любви к своей жене. Это не значит, что он любит эту женщину больше и страдает из-за нее сильнее, чем Бельтов, но значит только, что в его сердце не осталось силы и места ни для чего другого. Любовь Круциферского Герцен описывает так:

"Кроткий от природы, он и не думал вступать в борьбу с действительностию, он отступал от ее напора, он просил только оставить его в покое; но явилась любовь, так, как она является в этих организациях: не бешено, не безумно, но *на веки веков, но с таким отданием себя, что уже в груди не остается ничего не отданного...*

Во всех его действиях была та же кротость, что и на лице, то же спокойствие, та же искренность и та же робкая задумчивость. Нужно ли говорить, как такой человек должен был любить свою жену. Любовь его росла непрерывно, *тем более что ничто не развлекало его*; он не мог двух часов провести, не выдавши темно-голубых глаз своей жены; он трепетал, когда она выходила со двора и не возвращалась в назначенный час; словом, *ясно было видно, что все корни его бытия были в ней...*

Круциферский далеко не принадлежал к тем сильным и настойчивым людям, которые создают около себя то, чего нет; отсутствие всякого человеческого интереса около него действовало на него более отрицательно, нежели положительно, между прочим, потому, что это было в лучшую эпоху его жизни, т. е. тотчас после брака. А потом он привык, остался при своих мечтах, при нескольких широких мыслях, которым уже прошло несколько лет, при общей любви к науке, при вопросах давно решенных. Удовлетворения более действительным потребностям души он искал в любви, и *в сильной натуре своей жены он находил все*" (стр. 278–280).

Вот вина Круциферского: он любил слишком беззаветно, слишком много. На беду и жена попалась слишком хорошая, то есть такая, что могла поглотить весь запас душевных потребно-

стей, какой был у ее мужа. Чем исключительнее была любовь Круциферского, чем меньше у него оставалось жизни помимо этой любви, тем опаснее было бы положение, тем большая беда грозила ему в том случае, если бы пошатнулась эта единственная опора его существования. Вот почему, когда катастрофа разразилась, Бельтов произносит над Круциферским такой приговор:

"Дмитрий Яковлевич хороший человек, он ее безумно любит, *но у него любовь – мания; он себя погубит этой любовью, – что ж с этим делать... Хуже всего, что он и ее погубит*" (стр. 364).

Любовь есть чувство личное по самому существу дела, то есть чувство, удовлетворяемое только отношениями другого человека к нашей личности, а не к чему-либо другому. Поэтому, хотя любовь имеет источник совершенно отличный от эгоизма, она носит на себе все признаки, все существенные принадлежности эгоизма. Этот эгоизм любви – дело давно известное, и черты его, конечно, всего яснее выступают при такой исключительности в любви, какую страдает Круциферский. Нужно отдать полную справедливость Герцену, что эту больную сторону своего героя он описал превосходно. Вот несколько подробностей.

"*Да, она его любит. Сознавшись в этом, он с ужасом стал отталкивать эту мысль, но она была упорна, она всплыла; мрачное, безумное отчаяние овладело им. "Вот они, мои предчувствия! Что мне делать? И ты, и ты не любишь меня!" И он рвал волосы на голове, кусал губы, и вдруг в его душе, мягкой и нежной, открылась страшная возможность злости, ненависти, зависти и потребность отомстить; и в дополнение – он нашел силу все это скрыть. Настала ночь...*

Он заплакал. Слезы, молитва и покойный вид спящего Яши несколько облегчили страдальца; толпа совсем иных мыслей явилась в размягченной душе его. "Да прав ли я, что обвиняю ее? Разве она хотела его любить? И притом он... я чуть ли сам не влюблен в него..." И наш восторженный мечтатель, сейчас безумный ревнивец, карающий муж, вдруг решился самоотверженно. "Пусть она будет счастлива, пусть она узнает мою самоотверженную любовь, *лишь бы мне ее видеть, лишь бы знать, что она существует; я буду ее братом, ее другом!*" И он плакал от умиления, и ему стало легче, когда он решился на гигантский подвиг – на беспредельное пожертвование собою, и он *тешил* мыслью, что она будет тронута его жертвою; но это были минуты душевной натянутости; он менее нежели в две недели изнемог, пал под бременем такой ноши.

Не станем винить его; подобные противуестественные добродетели, преднамеренные самозаклания вовсе не по натуре челове-

ка и бывают большею частью только в воображении, а не на деле. На несколько дней его стало; но первая мысль, ослабившая его героизм, *была холодная и узкая*: "Она думает, я ничего не вижу, она хитрит, она притворяется". О ком думал он это? О женщине, которую так любил, которую должен был бы знать, да не знал" (стр. 340–342).

Таковы эти мучительные волнения. Ни желание добра, ни желание зла не могут оторваться от эгоистической подкладки; центром остается все-таки личность любящего, которую он никакими усилиями не может выбросить из вопроса. Вот почему Круциферская, хорошо понимая душевное состояние своего мужа, пришла к таким мыслям:

"Как *все странно и перепутано в людских понятиях!* Подумаешь иногда и не знаешь, сердиться или хохотать. Мне сегодня пришло в голову, что *самоотверженнейшая любовь – высочайший эгоизм, что высочайшее смирение, что кротость – страшная гордость, скрытая жестокость*; мне самой делается страшно от этих мыслей, так, как бывало маленькой девочкой я считала себя уродом, преступницей, за то что не могла любить Глафиры Львовны и Алексея Абрамовича; что же мне делать, как оборониться от своих мыслей и зачем? Я не ребенок. Дмитрий не обвиняет меня, не упрекает, ничего не требует; он сделался еще нежнее. *Еще!* вот в этом-то *еще* и видно, что *все это неестественно*, не так; в этом столько гордости и унижения для меня и такая даль от понимания" (стр. 335).

Очевидно, Круциферский лишился возможности относиться к жене свободно, без всякой примеси эгоистических волнений. В его душе не осталось, так сказать, ни одного здорового места, никакой точки опоры для объективного понимания дела. Он мучится *ревностью*, то есть эгоистическим требованием от любимой женщины такой же исключительной любви, какую сам к ней питает. Человек всегда судит о других по себе, и тот, кто живет и дышит одною страстью, предполагает и в другом или такую же страсть, или полное ее отсутствие. Отсюда – все подозрения ревности, ее слепота, ее извращение правильного понимания лиц и отношений.

Не так малодушна, хотя, по словам автора, не менее сильна любовь Бельтова и Круциферской. Этим двум лицам всего более симпатизирует автор, особенно Бельтову. Круциферская еще колеблется, еще готова признать себя виноватою и только понемногу убеждается в своей невинности. Бельтов же от начала до конца считает себя не подлежащим никакому упреку и наставляет в этом смысле Круциферскую.

Когда он начинает объяснение в любви, Круциферская говорит, что она любит мужа.

"Позвольте, – возражает он, – разве непременно вы должны отвернуться от *одного сочувствия* другому, как будто любви у человека дается известная мера".

Круциферская недоумевает и говорит: "Я не понимаю любви к двоим".

Бельтов в ответ выражается еще определеннее. "Если любовь вашего мужа, – говорит он, – дала ему права на вашу любовь, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имеет никаких прав? Это странно!.. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить. Не понимаете? Сойдите поглубже в душу вашу и посмотрите, что в ней делается теперь, сейчас" (стр. 311).

Круциферская принуждена наконец сознаться, что Бельтов прав, что она любит и его и сохраняет прежнюю любовь к мужу. Однако же, когда Бельтов вырвал у нее признание и поцеловал ее, она не решается сказать о том мужу и потом сама раскаивается в этой скрытности. "Бедный Дмитрий! – пишет она в своем дневнике, – ты страдаешь за беспредельную любовь твою; я люблю тебя, мой Дмитрий. *Если бы я с самого начала была откровенна с ним*, этого бы никогда не было; что за нечистая сила остановила меня?"

Господи! Как мне объяснить это ему? я не другого люблю, а люблю его и люблю Вольдемара; симпатия моя с Вольдемаром совсем иная...

Как только он успокоится, я поговорю с ним и все, все расскажу ему..." (стр. 331, 332).

Оказывается, однако же, что все попытки тщетны, что Круциферский не в состоянии понять чувств своей жены; он не верит словам любви, которые она ему расточает, и должен погибнуть жертвою этого непонимания и неверия. Убедившись в этом, жена его следующим образом определяет свое душевное состояние и всю меру их общего несчастья:

"Хуже всего, непонятнее всего, что у *меня совесть покойна*; я нанесла страшный удар человеку, которого вся жизнь посвящена мне, которого я люблю, и я *сознаю себя только несчастной*; мне кажется, было бы *легче, если бы я поняла себя преступной*; о, тогда бы я бросилась к его ногам, я обвила бы моими руками его колени, я раскаянием своим загладила бы все: раскаяние выводит все пятна на душе; он так нежен, он не мог бы противиться, он бы меня простил, и мы, выстрадавши друг друга, были бы еще счаст-

ливее. Что же это за проклятая гордость, которая не допускает раскаяния в душу?" (стр. 336).

Итак, есть случаи, есть положения, которые хуже всего, что обыкновенно считается самым худым на свете, – хуже греха и преступления. В грехе можно раскаяться, преступление искупается самым сознанием виновности; но мучиться самому и мучить других, не чувствуя себя ни в чем виноватым, – вот горе самое тяжкое. В изображении такого горя и состояла настоящая цель Герцена; вот его любимая, задушевная мысль.

Бельтову автор симпатизирует всего больше, и легко догадаться, что в этом лице он изобразил самого себя, свое душевное настроение, свои взгляды. Бельтов ни минуты ни в чем не кается, ни минуты ни в чем не колеблется, хотя после всей истории глубоко страдает и говорит даже, что он, может быть, *вдвое несчастнее других*. Бельтову, как мы видели, не мешает любовь Круциферской к мужу; Бельтов не ревнив и не требует от любимой женщины пожертвования ее другими привязанностями; его любовь так широка, так чужда всякой исключительности, что не ослепляет его, не возбуждает в нем никакой злобы, никаких несправедливых укоров и жалоб. Он ясно видит свое и чужое положение, тотчас догадывается, что сам попал и привел других в неотвратимую беду, и, мучась прямо этим настоящим горем, не мучится никакими напрасными мыслями и сомнениями. Он уезжает, уверенный в любви Круциферской, в своем несчастье и не счастье других.

Когда доктор Крупов упрекает Бельтова в необдуманности, в том, зачем он не предупредил несчастья, зачем не оставил заранее дом Круциферских, Бельтов отвечает:

"Вы проще спросите, *зачем я живу вообще?* Действительно, не знаю! Может, для того, чтобы сгубить эту семью, чтобы погубить лучшую женщину, которую я встречал. Вам все это легко спрашивать и осуждать. Видно, у вас сердце-то смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь в воспоминании.

Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье, и зачем он не остановился? Это наконец становится смешно, столько благоразумия у меня нет. Да и потом, это вовсе было не нужно. Когда я отдал отчет, когда я сам понял, – было поздно" (стр. 362, 364).

Итак, смешны и нелепы все укоризны, основывающиеся на том, что беду можно было предотвратить и предвидеть. Если бы Круциферский не женился на женщине, которая ему не под пару, если бы Бельтов не приезжал в город, где жили Круциферские, если бы он сторонился от всякой любви и заранее знал меру своих чувств, то, конечно, все было бы благополучно и не о чем было

бы рассказывать. Но это значит, что люди для спасения себя от бед должны *отказаться от жизни* и всего больше беречься именно тех опасных случаев, когда им предстоит любовь и счастье. Что-нибудь одно из двух: или не жить, или жить и страдать – такова дилемма, которую поставил роман. На вопрос: кто виноват? – роман отвечает: сама жизнь, самое свойство человеческих душ, не могущих отказаться от счастья и предвидеть, как далеко заведут их собственные чувства, и вследствие того страдающих от всякого рода встреч и случайностей, которые наносят удары этим чувствам и разрушают это счастье.

"ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ"
ТРИ ВЫХОДА: СТОИЦИЗМ, РЕЛИГИЯ, ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ.
ПЛАТОН КАРАТАЕВ.
БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

Нужно сказать правду – любовь Бельтова и Круциферской описана у Герцена слабо, без той художественной живости и ясности, которая позволяла бы нам видеть ее внутренние движения. Особенно неопределенно рассказаны ощущения Бельтова. Между тем в этой любви все дело. Роман собственно изображает противоположность двух родов любви. Одна любовь – Круциферского, – старый, известный род любви, – приводит к гибели того, кто ей подвергся. Другая любовь -- новая, более нормальная; Бельтов, как ни сильно он влюблен, не погибнет, не пропадет в своем несчастье; у Бельтова есть выход в другую сферу, есть другие интересы, которыми он может жить. Таково поучение, включающееся в романе.

Если взять дело с этой точки зрения, то роман *Кто виноват?* представляет, очевидно, воплощение мысли, постоянно занимавшей Герцена и выраженной им гораздо раньше романа в статье: *По поводу одной драмы* ("Отеч. зап.", 1843" июль),

В этой статье тот же самый вопрос трактуется в отвлеченной форме и поставлен превосходно, с истинно философской глубиной. Статья написана по поводу какой-то французской театральной пьесы, которой Герцен не называет и которая теперь забыта вместе с двумя ее авторами, Arnaud et Fournier¹³. Пьеса содержит целый ряд несчастий, происходящих от столкновений любви. Суждения Герцена, относящиеся к этой пьесе, так же хорошо относятся и к его роману *Кто виноват?*

"Жизнь лиц, – говорит он, – печально прошедших перед нашими глазами, была жизнь одностороннего сердца, жизнь личных преданностей, исключительной нежности.

При таком направлении духа начала короткого, тихого семейного счастья лежали в них; они могли бы быть счастливы, даже некоторое время были – и их счастье было бы делом *случая*, так же, как и их несчастье. Мир, в котором они жили, -- мир случайности...

Таким хрупким счастьем человек не может быть счастлив...

Судьба всего исключительно личного, не выступающего из себя, незавидна; отрицать личные несчастья нелепо; *вся индивидуальная сторона человека погружена в темный лабиринт случайностей, пересекающихся, вплетающихся друг в друга*; дикие физические силы, непросветленные влечения, встречи – имеют голос, и из них может составиться согласный хор, но могут произойти раздирающие душу диссонансы" (стр. 105).

"Лица нашей драмы отравили друг другу жизнь, потому что они слишком близко подошли друг к другу и, занятые единственно и исключительно своими личностями, они собственными руками разрыли пропасть, в которую низверглись; страстность их, не имея другого выхода, сожгла их самих. Человек, строящий свой дом на одном сердце, строит его на огнедышащей горе. Люди, основывающие все благо, своей жизни на семейной жизни, ставят дом на песке. Быть может, он простоит до их смерти; но обеспечения нет, и дом этот, как дома на дачах, прекрасен только во время хорошей погоды. Какое семейное счастье не раздробится смертью одного из лиц?

Там, где жизнь подчинена чувствам, подчинена частному и личному, *там ждите бед и горестей...*" (стр. 107).

Вот мысли, которые с большою силою занимали Герцена. Его глубоко поражала невозможность счастья в той области, которую следует назвать по преимуществу областью счастья, в сфере личных привязанностей. Он не думал, подобно многим утопистам, что можно устранить эти страдания – иным устройством общества, облегчением разводов, узаконением более легких связей между мужчинами и женщинами и т. п. Он прямо признавал, что здесь беды и горести пропорциональны счастью и радостям, что, допуская одни, нужно допустить и другие, что никакой прочности, никакого спокойствия здесь быть не может, и, следовательно, не может быть и истинного счастья. Нельзя быть благополучным, когда все зависит от случая, от обстоятельств, которых невозможно предотвратить и предвидеть. Эта *страшная изнанка жизни человеческой* была очень ясна Герцену, и над нею-то он задумывался.

"Случайность, – продолжает он, – имеет в себе нечто невыносимо противное для свободного духа; ему так оскорбительно признать неразумную власть ее, он так стремится подавить ее, что, не зная выхода, выдумывает лучше грозную судьбу и покоряется ей; хочет, чтобы бедствия, его постигающие, были predeterminedены, т. е. состояли бы в связи с всемирным порядком; он хочет принимать несчастья за преследования, за наказания: тогда ему есть утеха в повиновении или в ропоте; одна случайность для него невыносима, тягостна, обидна; гордость *его* не может вынести безразличной власти случая. Эта ненависть и стремление выйти из-под ярма указывают довольно ясно на необходимость другой области, *иного мира*, в котором враг поправлен, дух свободен и дома" (стр. 105).

Итак, требуется выход из царства случайности, требуется некоторый иной мир, в котором бы человек мог жить более прочно и спокойно. Герцен разбирает следующие три выхода:

1. *Стоический формализм.*
2. *Религия.*
3. *Общие интересы.*

"Формализм, – по словам Герцена, – стремится рабски подчинить страсти сердца, всю естественную сторону, все личные требования – разуму, как бы чувствуя, что он не совладевает с ними, пока они на воле" (стр. 103). Формализм хотел бы, чтобы сердце подчинялось отвлеченному понятию долга, чтобы люди постоянно жертвовали собою ради осуществления некоторых идей, например идеи брака, исполнения принятых обязательств и т. п. Этот выход Герцен называет мертвящим и насильственным.

Другое дело *религия*. "*Религия*, – говорит Герцен, – *устремляется* в другой мир, в котором также улетучиваются страсти земные; но этот другой мир не чужд сердцу; напротив, в нем сердце находит покой и удовлетворение; сердце не отвергается им, а распускается в него; во имя его религия могла требовать жертвования естественными влечениями; в высшем мире религии личность признана, всеобщее нисходит к лицу, лицо поднимается во всеобщее, не переставая быть лицом; религия имеет собственно две категории: всемирная личность божественная и единичная личность человеческая... Религия снимает (*т. е. отрицает, aufhebt*) семейную жизнь, как и частную, во имя высшей, и громко призывает к ней: "Кто любит отца своего и мать более меня – тот недостоин меня". Эта высшая жизнь не состоит из одного отрицания естественных влечений и сухого исполнения долга: *она имеет свою положительную сферу в всеобщих интересах своих*; поднимаясь в нее, личные страсти сами собою теряют важность и силу –

и это единственный путь обуздания страстей – свободный и достойный человека" (стр. 104).

Вот прекрасное указание на значение религии. Герцен признает, что единственное решение, достойное человека, должно быть подобно тому решению, которое дает религия. Нужно найти какую-нибудь *высшую жизнь*, подобную той, к которой *устремляется* религия, такую жизнь, где бы сердце человека могло обрести обильную пищу. Только такую жизнью могут быть заглажены и исцелены несчастья личных привязанностей, неизбежные горести индивидуальной жизни. И вот настоящий выход, настоящее решение:

"Не отвергнуться влечений сердца, не отречься от своей индивидуальности и всего частного, не предать семейство – всеобщему, но *раскрыть свою душу всему человеческому, страдать и наслаждаться страданиями и наслаждениями современности*, работать столько же для рода, сколько для себя, словом, *развить эгоистическое сердце в сердце всескорбящее*, обобщить его разумом, и в свою очередь оживить им разум... Человек без сердца – какая-то бесстрастная машина мышления, не имеющая ни семьи, ни друга, ни родины; сердце составляет прекрасную и неотъемлемую основу духовного развития; из него пробегает по жилам струя огня всесогревающего и живительного; им живое сотрясается в наслаждении, радо себе. Поднимаясь в сферу всеобщего, страстность не утрачивается, но преобразуется, теряя свою дикую, судорожную сторону; предмет ее выше, святее; по мере расширения интересов *уменьшается сосредоточенность около своей личности*, а с нею и ядовитая жгучесть страстен" (стр. 106).

Вот тот *иной мир*, в который должен уходить человек из области своей личной жизни; это мир всеобщих интересов, жизнь общественная, художественная, научная. Решение, по-видимому, самое полное, самое ясное и удовлетворительное.

Одно только дурно – решение это принадлежит не самому автору. Герцену принадлежит только вопрос, а решение он заимствовал из немецкой книги, из той знаменитой философии, которая тогда царила в Европе. Эта философия породила бесчисленные ряды формул, разрешающих всевозможные вопросы, определяющих отношения между всевозможными понятиями. Но эти формулы большею частью оказались впоследствии или тавтологиями, или двусмысленностями, оказались столь широкими и неопределенными, что как будто не имели своего содержания, а могли вместить в себя самые противоположные учения.

Так и здесь. Герцен хочет сказать, что для спасения себя от личных бед и превратностей человек должен следить за современ-

ностью, принимать участие в общественной, научной, художественной жизни. Он хвалит Бельтова за то, что тот постоянно следит за прогрессом человеческой мысли, и осуждает Круциферского за то, что он отстал от идей века и перестал о них заботиться. Но в формуле, данной Герценом, не заключается именно этого определенного смысла. *Не сосредоточивайся около своей личности, раскрой свою душу всему человеческому* – этот совет одинаково годится к для революционера, пытающегося изменить ход всемирной истории, и для монаха, удалившегося от всяких дел и всякой современности, – и даже для второго годится гораздо больше, чем для первого. И в том и в другом случае можно сказать: "Кто погубит свою душу, тот спасет ее" – эпитафия одной из статей Герцена (*Буддизм в науке*. "Отч. зап." 1843, декабрь). Где бы ни жил человек, он живет среди людей, среди некоторых интересов, некоторой жизни, и весь вопрос в том, как поставить себя к этой жизни, как относиться к ней своею душою.

Для ясности укажем на тот удивительный образ, который создан гр. Л. Н. Толстым, на Платона Каратаева. Вот человек, в котором прочно и ясно установились все жизненные отношения, который в силу этого спокоен и прост среди всяких бед и в самую минуту смерти. Он представляет живое, воплощенное решение той задачи, которая мучила Герцена. Сюда относятся следующие черты духовной жизни Каратаева:

"Он любил говорить и говорил хорошо; главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи *события самые простые*, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, *получали характер торжественного благообразия*. Он любил слушать сказки, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. *Привязанностей дружбы, любви*, как понимал их Пьер, *Каратаев не имел никаких*; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком, – не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему, *ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним*.

Жизнь Каратаева, как он сам смотрел на нее, *не имела смысла как отдельная жизнь*. Она имела смысл только как *частица целого, которое он постоянно чувствовал*" ("Война и мир". Т. V, стр. 235, 236).

Вот разрешение, которое представляет не только выход из бедствий случайности, но и положительное благополучие, не только победу над личным страданием, но и совершенную свободу от таких страданий. Вместо науки и искусства для Каратаева существуют только рассказы, песни и сказки; вместо современной жизни человечества – жизнь тех простых людей, с которыми столкнул его случай. А между тем формула Герцена исполнена совершенно; *эгоистическое, естественное сердце* превратилось во *всех-скорбящее* и даже во *всех-радующееся*.

Итак, формула Герцена имеет слишком широкий смысл и нимало не характеризует его собственных мыслей. В этом отношении вообще можно заметить, что в каждом писателе следует различать, что в нем свое и что наносное. Так, поклонение Гёте не могло составлять особенности Герцена; это было общее явление тогдашней умственной жизни; для Герцена же характеристично именно противоположное явление – сомнение в справедливости этого поклонения. Так точно и здесь: оригинальной мысли Герцена следует искать в том углублении, которое он придает вопросу, а не в отвлеченных формулах, которые он берет из чужих рук и которыми, следуя духу времени, думает разрешить вопрос. Неудовлетворенность решением невольно проглядывает у самого Герцена: ее нетрудно заметить и выделить из общих рассуждений. Настоящая мысль Герцена яснее всего выражена в начале статьи; это не мысль примирения, а, напротив, мысль тревоги и разлада.

"Все окружающее, – говорит он, – подверглось пытующему взгляду критики. Это болезнь промежуточных эпох. Встарь было не так: все отношения, близкие и дальние, семейные и общественные, были определены – справедливо или нет, – но определены. Оттого много думать было нечего: стоило сообразоваться с положительным законом, и совесть удовлетворилась...

На всех перепутьях жизни стояли тогда разные неподвижные тени, грозные привидения для указания дороги, и люди покорно шли по их указанию...

Ко всему привязывающийся, сварливый век наш, шатая и раскачивая все, что попадалось люд руку, добрался наконец до этих призраков, подточил их основание, сжег огнем критики, и они улетучились, исчезли. Стало просторно; но простор даром не достается; люди увидели, что вся ответственность, падавшая вне их, падает на них; *упреки стали злые грызть совесть. Сделалось тоскливо и страшно* – пришлось проводить сквозь горнило сознания статью за статью прежнего кодекса... Ясное, как дважды два – четыре, нашим дедам – исполнилось *мучительной трудности* для нас. *В событиях жизни, в науке, в искусстве нас преследу-*

ют неразрешимые вопросы, и, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, мы мучимся. Подчас, подобно Фаусту, мы готовы отказаться от духа, вызванного нами, чувствуя, что он не по груди и не по голове нам. Но беда в том, что дух этот вызван не из ада, не с пламенем, а из собственной груди человека, и ему некуда исчезнуть" (стр. 96 и 97).

Вот правдивое изложение душевного и умственного настроения Герцена. Вопросы являются ему *неразрешимыми*, они его мучат, не дают ему жить, наводят на него тоску и страх.

Как хорошо в этом виден действительный скептик, действительный мыслитель! Какая разница между ним и теми самодовольными тупицами, для которых скептицизм составляет какое-то наслаждение, которые без малейшей боли касаются заветнейших струн человеческого существования и точно радуются тому, что сердце их пусто и глухо, что для них нет ничего дорогого на свете! Герцен не был болтуном, услаждающимся своею болтовнёю; под его речами и умствованиями всегда была живая подкладка; теоретические вопросы превращались у него в жизненные вопросы; они его мучили, как нравственные задачи, без разрешения которых невозможно спокойно и уверенно жить и действовать.

Решение того вопроса, о котором говорится в статье *По поводу одной драмы*, Герцен заимствовал из тогдашней немецкой мудрости. Но легко заметить, как мало оно его удовлетворяло. Уже поставивши чужую формулу для разрешения вопроса, он тотчас проговаривается и высказывает свою собственную мысль:

"Человеческая жизнь – *трудная статическая задача*" (Статика – наука о равновесии.)

"Человек развившийся – равно не может ни исключительно жить семейной жизнью, ни отказаться от нее в пользу всеобщих интересов".

Отсюда вытекает, как неизбежное следствие, то обилие человеческих бедствий, которое занимает Герцена, именно, постоянная "*возможность скорбных катастроф*", поражающих нежные одухотворенные существования развитых стран..." (стр. 106).

Очевидно, прибавление общих интересов к интересам личным только увеличивает трудность задачи, только умножает число тех случаев, когда сердцу человеческому необходимо приходится страдать. Роман *Кто виноват?* есть развитие в образах и лицах той самой темы, на которую написана статья *По поводу одной драмы*. В романе мы находим ту же самую мысль в более зрелой и ясной форме. Что же мы видим? Бельтов есть человек вдвойне несчастный, вдвойне страдающий. Преданность общим интересам не только не дала ему твердой точки опоры, а привела к *мыслям*

горьким и странным (стр. 312), к *безотрадному и грустному* взгляду на мир (стр. 234). Новая беда, которую он сделал и которой он сам подвергся в романе, есть только следствие прежних его страданий. Когда доктор Крупов упрекает Бельтова за его любовную историю, тот объясняет свое поведение следующим образом;

"Я приехал сюда *в одну из самых тяжелых эпох моей жизни*. В последнее время я расстался с заграничными друзьями; здесь не было ни одного человека, близкого мне; я толкнулся к некоторым в Москве – ничего общего! Это укрепило меня еще более в намерении ехать в NN. Вы знаете, что здесь было *и весело ли я жил*. Вдруг я встречаю эту женщину...

Какие мгновения истинного блаженства я испытал в эти вечера, когда мы долго беседовали! – Я отдохнул *за весь холод, испытанный мною в жизни*. Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье, и зачем он не остановился? Это, наконец, становится смешно..." (стр. 362–364).

Итак, Бельтов влюбился в Круциферскую, спасаясь от того холода и тяжести, которые он испытывал в служении общим интересам. Выходит так, что сфера этих интересов иногда не отвлекает от катастроф личной жизни, а наталкивает на них. В другом месте Бельтов причисляет самого себя к людям, одаренным *такими силами и стремлениями*, которых *некуда употребить*, для которых история, т. е. вся совокупность общих интересов, не представляет выхода, поприща, запроса.

"Всего реже, – говорит он о таких людях, – выходят из них тихие, добрые люди; их *беспокоят у домашнего очага едкие мысли*. Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него нет выхода, когда жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу, в сердце, и надобно сидеть сложа руки, а мышцы так здоровы, а крови в жилах такая бездна... Одно может спасти тогда человека и поглотить его... это встреча... встреча с..." (стр. 298, 300).

Бельтов разумеет встречу с такой женщиной, как Круциферская. Итак, он потому особенно расположен влюбляться, и даже в чужих жен, что в общей сфере ему некуда девать свои силы. Это положение внушает ему даже отчаянную жадность ко всякого рода минутным отрадам. Рассуждая с доктором Круповым о своем здоровье, он выражается так:

"Что будет пользы, если я проживу еще не десять, а пятьдесят лет? Кому нужна моя жизнь, кроме моей матери, которая сама очень ненадежна? *Я бесполезный человек*, и, убедившись в этом, я полагаю, что я один хозяин над моею жизнью; я еще не настолько разлюбил жизнь, чтобы застрелиться, и уж не люблю ее насто-

лько, чтобы жить на диете, водить себя на помочах, *устранять сильные ощущения и вкусные блюда*, для того, чтобы продлить на долгое время эту жизнь больничного пациента" (стр. 273).

Итак, это человек страшно голодный сердцем и с этого голоду неудержимо бросающийся на ту пищу личного чувства, которая пришлась ему по вкусу. Вот почему он полюбил Круциферскую, и ни за что не хотел остановиться в этой любви. Печальное состояние, которое, разумеется, ни к чему доброму привести не может!

Очевидно, следовательно, Герцену хотелось изобразить в Бельтове человека, для которого *трудная статическая задача* жизни неразрешима, который одинаково подвергся страданию и в области общих интересов, и в области индивидуальных радостей. Таким образом, вместо ясного философского решения, представляемого статьею, роман представляет смысл более запутанный, более мрачный, более соответствующий истинному мирозерцанию Герцена. Не одна область личных интересов подвержена неразумной, грубой случайности, делающей невозможным счастье, – как то доказывает судьба Круциферского; область общих интересов, история – столько же неразумно и жестоко может погубить человека, не давая выхода его силам, не представляя запроса на живущие в нем стремления, как то доказывает своею судьбою Бельтов. Счастье для Бельтовых еще менее возможно, чем для Круциферских: для первых возможны только счастливые минуты, вторым могут выпасть на долю целые годы радости. Общий вывод – человек не может быть счастлив.

"Надо быть поглубже, – говорит в одном месте Круциферский, – для того, чтобы быть посчастливее; посмотрите, как невозмущаемо счастливы, напр., птицы, звери оттого, что они меньше нас понимают" (стр. 230).

В другом месте он выражает ту же мысль с некоторым сомнением:

"Всякий зверь ловко приспособлен природой к известной форме жизни. А человек... не ошибка ли тут какая-нибудь? Просто, сердцу и уму противно согласиться с возможностью того, чтобы прекрасные силы и стремления давались людям для того, чтобы они разъедали их собственную грудь. На что же это?"

Но Бельтов отвечает на это без колебаний и раздумья:

"Вы совершенно правы, – с жаром возразил он Круциферскому, – и с *этой точки зрения вы не выпутаетесь из вопроса*" (стр. 298).

Таков смысл романа. Он содержит в себе вопрос, из которого выпутаться невозможно; он устанавливает точку зрения, с которой жизнь человеческая является с ее темной, безотрадной стороны.

Всякая поэзия, всякая философия есть некоторого рода теодицея. Поэты и философы обыкновенно делают то же дело, какое составляло главную черту умственной жизни Платона Каратаева: они придают жизни и миру "характер торжественного благообразия", они умеют сами видеть и уяснять другим лицезу сторону предметов и событий. Герцена же неудержимо привлекала другая сторона, то, что он сам называл "страшною изнанкою жизни человеческой". Во всем, чего он ни касался своею мыслию, он видел этот испод; вещи самые простые, которые мы видим, не замечая их, получали у него характер самого грустного безобразия, самой жестокой безотрадности.

**"ДОКТОР КРУПОВ".
"ЛЕВИАФАНСКИЙ"**

Уже незадолго перед отъездом за границу, с которого начинается новый период деятельности Герцена, была написана им шутка, которая до сих пор, наравне с романом *Кто виноват?*, живет в памяти русских читателей. Это небольшой отрывок, под заглавием *Из сочинения доктора Крупова "О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности"* ("Современник", 1847. Т. V).

Кто помнит доктора Крупова, тот помнит, конечно, и его теорию. Она состоит в том, что люди, вообще говоря, повреждены в уме, что человечество поражено повальным сумасшествием. Упорные заблуждения людей, их слепое подчинение страстям, их действия, явно противоречащие их собственной пользе, – все это доктор Крупов считает следствием давнишнего эпидемического помешательства.

Для того, чтобы подобная шутка была остра и занимательна, нужно было одно условие – нужно было, чтобы она как можно ближе походила на правду, чтобы почти вполне представляла выражение искреннего убеждения. Истинно остроумен может быть только тот, кто истинно глубокомыслен. Шутка у Герцена вышла страшная: из простой насмешки над людскими слабостями и предрассудками она переходит в скорбную, в отчаянную думу о бедствиях и страданиях людей, и под конец кажется, что мысль о хроническом и повальном умопомешательстве гораздо легче и отраднее, чем представление, что люди все свои безумства и злодейства делают в полном разуме и с неповрежденным сердцем.

Фигура дурачка Левки – едва ли не лучшее лицо, созданное Герценом. В описании этого лица он наглядно и превосходно со-

поставляет человека дикого с людьми *грубыми*; на стороне грубых людей оказывается больше непонимания, больше бесчеловечия, чем у несчастного юродивого. Тонко и ясно схвачены нежные, детские черты ума и сердца Левки; выпукло и резко выставлена нелепая затверделость понятий людей, считающих только себя разумными, только свою жизнь нормальной. Невозможно лучше показать все неразумие неподвижных форм жизни, о которые разбивается всякая отступающая от них индивидуальность.

"Меня поразила, – пишет доктор Крупов, – мысль, которая потом преследовала всю жизнь: с чего люди, окружающие его (Левку), воображают, что они лучше его? С чего считают себя вправе презирать, гнать это существо, тихое, доброе, никогда никому не сделавшее вреда? И какой-то таинственный голос шептал мне: "Оттого, что и все остальные – юродивые, только на свой лад, и сердятся, что Левка глуп по-своему..." В самом деле, – думалось мне, – чем Левка хуже других? Тем, что он не приносит никакой пользы. Ну, а пятьдесят поколений, которые жили только для того, на этом клочке земли, чтобы их дети не умерли с голоду сегодня и чтобы никто не знал, зачем они жили и для чего они жили, – *где же польза их существования?* Наслаждение жизнью? Да они ею никогда не наслаждались, *по крайней, мере гораздо меньше Левки*. Для них жизнь была тяжелая ноша и скучный обряд. Дети? Дети могут быть и у Левки: это дело нехитрое. Зачем Левка не работает? Да что же за беда; он ни у кого ничего не просит, кой-как сыт. Чем же он хуже умников, которые, *несмотря на то, что работают денно и нощно, не богаче его?* Работа – не наслаждение какое-нибудь; кто может обойтись без работы, тот не работает... Левка никогда дома не живет, не исполняет обязанностей сына, брата? Ну, а те, которые дома, разве исполняют? У него есть еще семь братьев и сестер, *живущих в постоянной ссоре между собою*, которая длится в роде тридцатилетней войны... И я постоянно возвращался к основной мысли, что причина всех гонений на Левку состоит в том, что Левка глуп на свой собственный салтык, а другие *повально глупы*; и так, как картежники не любят неиграющих и пьяницы непьющих, так и они ненавидят бедного Левку" (стр. 11 и 12).

Читатель видит, что это вовсе не шутки, а совершенно серьезные мысли, что здесь берутся те точки зрения, с которых открывается пустота, следовательно, неразумность и ничтожество жизни. Люди похожи на безумных потому, что чем-то довольны и из-за чего-то бьются, тогда как в сущности они достойны только жалости, и жизнь их часто не имеет никакой цели.

Затем Герцен еще более сглаживает тонкую черту, разделяющую ум от безумия. Мысли обыкновенных людей часто бывают так же нелепы, как и мысли сумасшедших, и разница только в том, что чувство действительности одних останавливает, а других – нет.

"Странные поступки безумных, – рассказывает доктор Крупов, – их раздражительную злобу объяснил я себе тем, что все окружающее нарочно сердит их и ожесточает непрерывным противоречием, жестким отрицанием их *idee fixe*. Замечательно, что люди делают все это только в домах умалишенных; вне их *существует между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признают пункты помешательства друг в друге...* Объясню примерами. Главный доктор в заведении был добрейший немец в мире, без сомнения, более поврежденный, чем половина больных его.

Больные не любили его оттого, что он, сам стоя на одной почве с ними, вступал всегда в соревнование.

"Я китайский богдыхан!" – кричал ему один больной, привязанный на толстой веревке, которая по необходимости ограничивала богдыханскую власть его. "Ну когда же китайский император сидит на веревке?" – отвечал добрейший немец с пресерьезным видом, как будто он сам сомневался, не действительно ли китайский богдыхан перед ним. Больной выходил из себя, слыша возражение, скрежетал зубами, кричал, что это Вольтер и иезуиты посадили его на цепь, и долго не мог потом успокоиться. Я, совсем напротив, подходил к нему с видом величайшего подобострастия. "Лазурь неба, прозрачайший брат солнца, – говорил я ему, – позволь мне, презренному червю, грязи, отставшей от бессравненных подошв твоих, покапать холодной воды на светлое чело твое, да возрадуется океан, что вода имеет счастье освежать почтенную шкуру, покрывающую белую кость твоего черепа"... и больной улыбался и позволял с собою все, что я желал. Обращаю особенное внимание на то, что я для этого больного не делал ничего особенного, а поступал с ним так, как все добрые люди поступают друг с другом везде, на улице, в гостиной и пр. Надобно заметить, что в заведение ездил один тупорожденный старик, воображавший, что он гораздо лучше докторов и смотрителей знает, как надобно за больными ходить, и всякий раз приказывал такой вздор, что за него делалось стыдно; однако главный доктор слушал его до конца и не говорил ему, что все это вздор, не дразнил его – а китайского богдыхана дразнил. Где же тут справедливость?" (стр. 17 и 18).

Наконец Герцен переходит к главному доказательству. Он указывает на тот явный, постоянный вред, который наносят люди себе самим в силу своих предрассудков, на их *явное и постоянное стремление к целям несущественным и упущение целей действительных*. Это уже черта настоящего безумия, то есть такого состояния, в котором действительность не имеет силы над человеком. Если человек подвергается бедам и мучениям, действуя по известным понятиям, и однако же не может образумиться и продолжает прежний образ действий, то он всего ближе к безумному. Нам привелось бы выписать весь отрывок, если бы мы стали приводить превосходные образы и сцены, которыми доктор Крупов подтверждает свою мысль.

Эта мысль выражена так ярко и поразительно, что, наконец, вместо смеха наводит на читателя ужас. Невозможно читать без некоторого содрогания заключение доктора Крупова:

"Успокоившись насчет жителей нашего города (т. е. убедившись, что они безумные), я пошел далее. Выписал себе знаменитейшие путешествия, древние и новые исторические творения, и подписался на "Гамбургский Беспристрастный Корреспондент". Отовсюду текли доказательства очевидные, не подлежащие сомнению, моей основной мысли; слезы умиления не раз наполняли глаза мои при чтении. Я не говорю уже о Гамбургской газете; на нее я с самого начала смотрел, не как на суетный дневник всякой всячины, а как на всеобщий бюллетень разных богоугодных заведений для несчастных страждущих душевными болезнями. Все равно, что бы историческое я ни начинал считать, везде, во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное помешательство. Тита Ливия или Муратори я брал, Тацита или Гиббона – никакой разницы: все они доказывают одно, что *история – не что иное, как связный рассказ родового хронического безумия* и его медленного излечения (этот рассказ дает нам, по неведению, полное право надеяться, что через тысячу лет двумя-тремя безумиями будет меньше). Истинно не считаю нужным приводить примеры: их миллионы. Разверните какую хотите историю; везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы; взгляните, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, – и вы ясно убедитесь в несчастной на первый взгляд истине, и истине полной утешения на второй взгляд, что все это – следствие расстройства умственных способностей" (стр. 26, 27).

Такова шутка Герцена. Нужно ли говорить, как сильно в ней отражается мрачный взгляд Герцена на человеческую природу, его чуткость ко всем темным сторонам жизни!

Опять заметим ту великую разницу, которая обнаружилась и в этом случае между Герценом и другими из наших писателей, трактовавшими о всемирной истории. Есть у нас мыслители (читатель найдет их немало, например, в любопытном журнале "Дело"), которые смотрят на всемирную историю, по-видимому, весьма мрачно, а в сущности очень весело. Для них вся история представляет сплошной ряд сумасбродств и безумств, и род человеческий от начала и до сих пор состоит большею частью из людей, пораженных душевными болезнями. Эти мыслители принимают за правду то, что Герцен говорил как шутку. Но зато они имеют утешение, которое почему-то не имело силы над Герценом. Именно они полагают, что, с тех пор как они сами явились на свет, на свете уже существуют люди вполне здоровые умственно и нравственно, что, с тех пор *как* издается журнал "Дело" и другие подобные органы, уже засиял свет ума среди всеобщего безумия. Такая приятная мысль совершенно примиряет этих мыслителей с мрачным взглядом на историю. Им кажется, что чем безумнее окажутся другие люди, тем больше разумности выпадает на их собственную долю.

Более логически и менее весело думал Герцен. "Человек, считающий историю хроническим безумием, сам помешанный", – говорит он в предисловии (стр. 5). И действительно, разве мы не имеем полного права распространить на мыслителей "Дела" тот самый взгляд, под который они подводят весь род человеческий и всю его историю?

В свое время шутка Герцена имела большой успех. Это была одна из самых удачных форм, в которых выразилось его недовольство и отчаяние. Через двадцать лет, в 1867 г., он написал еще небольшую вещь на ту же тему. В "Полярной звезде" на 1869-й, вышедшей в 1868 г., находится статья под заглавием: *Aphorismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова. Сочинение прозектора и адъюнкт-профессора Тита Левиафанского*¹⁴.

Здесь тон шутки поднят еще на одну ноту. Левиафанский считает ошибкою Крупова надежду на постепенное излечение рода человеческого. "Как же, – спрашивает он, – *постоянное состояние* какого-нибудь животного рода или вида может излечиться?.. Это не болезнь, а *особенность, признак*". "Человек, – говорит он далее, – с бесконечным творчеством меняет *idees fixes* и пункты помешательства и постоянно пребывает верным безумию. Если у людей являлась редкая мания жить по чистому разуму и по разуму устроиться, то она количественно всегда так была незначительна, что ее можно отнести к личным умопомешательствам, а не к тем, которыми зиждутся царства и империи, народы и целые эпохи".

Этого мало. Левиафанский не только считает безумие постоянной принадлежностью человека, но и видит в безумии благо, необходимое условие истории и прогресса.

"Без хронического, родового помешательства, – говорит он, – прекратилась бы всякая государственная деятельность; с излечением от него остановилась бы история. Не было бы ей занятия, не было бы в ней интереса. Не в уме сила и слава истории, да и не в счастии, как поет старинная песня, а в *безумии*.

Без него мы были бы сведены на логику и математику.

Умом и словом человек отличается от всех животных. И, как безумие есть творчество ума, так вымысел – творчество слова.

Одно животное пребывает в бедной правдивости своей и в жалком здоровом смысле. Природа молчит или звучит бессвязно, ибо она-то и находится под безвыходным самовластием разума, в то время как человек горюдит целые Магабараты¹⁵ и Урвазии¹⁶. Все сковано в природе железною необходимостью, она не усовершенствуется, не домогается, не ждет обновления и искупления; она только перерабатывается, "не ведая, что творят", и в эту-то кабалу, в этот дом без хозяина, без добродетелей и пороков, толкают человека под предлогом излечения?" (стр. 137).

Ум Левиафанский называет "началом антисоциальным и разъедающим", тогда как безумие есть начало зиждательное, которым все живет и движется.

ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ ГЕРЦЕНА

Да не подумает кто-нибудь, что, указывая на постоянную односторонность мыслей Герцена, на глубокое субъективное настроение, которым проникнуто все, что он писал, мы желаем как бы заранее отнять у него всякие права на истину, на правильное понимание вещей. Наша цель совершенно другая. Мы хотели бы, напротив, показать, что Герцен обладал необыкновенною чуткостью для известных сторон жизни, что ему могло быть ясно и понятно то, что совершенно закрыто для обыкновенных глаз. Обыкновенно люди довольны и самими собою, и теми, часто ничтожными, благами, которых они добиваются. Следовательно, большею частью люди слепы, так как не замечают ни собственного ничтожества, ни пустоты тех целей и желаний, которыми наполнена их жизнь. Герцен принадлежал к другой, далеко не столь многочисленной породе людей, к тем натурам, которых настроение можно назвать по преимуществу религиозным, которых этот мир, эта жизнь не удовлетворяют. Идеал, живущий в душах таких

людей, может, по-видимому, вовсе не совпадать с идеалом церкви, но результаты выходят те же. Настойчиво, неотразимо открывается этим душам темная сторона каждого явления; мир обнаруживает им все, что в нем достойно смеха, плача, негодования. Таков был Гоголь, таков был и Герцен.

Такие люди, если не видят всей истины, зато могут совершать великие открытия в той области, которая доступна их проницательности.

Мы разбирали до сих пор преимущественно художественные произведения Герцена, следовательно, такие, в которых выражался его общий взгляд на жизнь, общее его настроение. Нам кажется, мы ясно доказали, что пессимизм есть главная черта этого настроения. Несчастия, не имеющие смысла и цели, безвыходные вопросы и столкновения, игра случайности, как постоянная изнанка человеческой жизни, наконец, вечное противоречие между счастьем и собственными усилиями людей, их безумное упорство в действиях, ведущих к их собственному вреду и гибели, – таковы общие темы разобранных нами произведений Герцена.

Теперь нам следует обратиться к его философским и историческим статьям, разобрать, какого взгляда он держался в философии и как смотрел на современную историю, на русскую и на западную. Легко понять, что со своим глубоким пессимизмом он сразу схватил то, что было всего безотраднее, всего болезненнее в современном ему строе европейской мысли и европейской истории. Фейербахизм, философское воззрение, с которым так благодушно и спокойно уживаются немцы, был понят Герценом в смысле самом суровом и безнадежном. Скажем заранее – это понимание мы считаем вполне правильным, вполне соответствующим делу.

Запад тянул к себе Герцена. Он уехал из России и не только стал внимательно и зорко всматриваться в строй и движение Запада, но и сам пытался вмешаться в это движение. К какому же выводу пришел Герцен? С неотразимою силою в нем вкоренилось убеждение, что Запад страдает смертельными болезнями, что его цивилизации грозит неминуемая гибель, что нет в нем живых начал, которые могли бы спасти его.

Вот главное открытие Герцена. России он не понимал; как Чаадаев, он ничего не умел видеть ни в ее настоящем, ни в ее прошедшем. Но Запад он знал хорошо; он был воспитан на всех ухищрениях его мудрости, он умел сочувствовать всем движениям тамошней общественной жизни, был зорким и чутким зрителем нескольких революций. И он пришел к тому убеждению, что нет живого духа на Западе, что все его мечты обновления не име-

ют внутренней силы, что одно верно и несомненно – смерть, духовное вымирание, гибель всех форм тамошней жизни, всей западной цивилизации.

Эту мысль Герцен проповедовал упорно и постоянно до конца своей жизни. На эту тему написаны лучшие, остроумнейшие и глубокомысленнейшие его статьи. И наибольшее поучение, которое можно извлечь из Герцена, конечно, заключается в том анализе явлений западной жизни, которым он подтверждает свою мысль о падении Запада.

КОММЕНТАРИИ

Впервые опубликовано: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Герцен. Милль. Парижская коммуна. Ренан. Штраус. Спб., 1882.
Печатается по тексту этого издания.

¹ "Mir gab ein Gott zu sagen, was ich leide". Gothe. Torquato Tasso. – "Мне бог дал сказать, что я выстрадал". Гёте. Торквато Тассо (нем.).

² ...d'une existence manguee... – неудачника (франц.).

³ "Ja, ja, der Obrist hat recht..., Ware der gro?e Fritz... oh, der gro?e Fritz!" – "Да, да, полковник прав... Если б был жив великий Фриц... о, великий Фриц!" (нем.)

Фриц – немецкий император Фридрих II.

⁴ "Nous en parlerons devant les dames". – Мы будем рассказывать об этом дамам (франц.).

⁵ Ксенофонт – древнегреческий писатель и историк, возглавлявший во время одной из войн (401 г. до и. э.) отступление десяти тысячного отряда греческих воинов.

⁶ "Homo sum et nihil humani a me alienum puto". – Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

⁷ Ah, bah; c'est un celebre poete allemand, m-r Koethe, qui a escrit, qui a escrit... ah!.. La Messiaide! – "Да, это знаменитый немецкий поэт г-н Кете, который написал, который написал... ну... Мессиаду!" (франц.).

⁸ Упомянутая поэма "Мессиада" принадлежит не Гёте, а Клопштоку. Werthers Leiden – роман Гёте "Страдания молодого Вертера".

⁹ Арминий – вождь одного из германских племен, возглавивший в IX веке н. э. восстание германцев против римлян.

¹⁰ Имеется в виду книга римского историка Тацита "Германия".

¹¹ Авдеев Михаил Васильевич (1821–1876) – русский писатель; в романах "Тамарин", "Подводный камень" изображал "лишнего человека" и положение женщины в дворянском обществе.

¹² Стародум – персонаж комедии Д. И. Фонвизина "Недоросль", образ просвещенного и гуманного резонера.

¹³ В статье "По поводу одной драмы" (1843) Герцен имеет в виду пьесу французских авторов О. Арну и Н. Фурнье "Преступление, или Восемь лет старше".

¹⁴ Это произведение Герцена было впервые опубликовано на французском языке в газете "KoloKol", No 6 от 1 апреля 1868 г.

¹⁵ Магабарата (Махабхарата) – памятник древнего индийского эпоса.

¹⁶ Урвазия – поэма о небесной нимфе Урваши, основанная на сюжетах индийской мифологии.